

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

ЕВРЕЙСКИЙ ПОГРОМ

Рассказ

ОСР: Евсей

Все это уже давно достояние седой старины.

Это происходило в Одессе, в начале семидесятых годов.

Я был гимназистом старших классов.

Наши столы ломились уже тогда от сочинений Писарева, Щапова, Флеровского, Миртова, Бокля, Спенсера, Милля и многих других.

О предстоящих беспорядках на пасху говорили еще на страстной.

Слухи исходили от кухарки и горничной.

Из каких-то недр почерпали они свои сведения и неохотно, милости ради, делились с нами.

Как-то переменялись вдруг роли: прислуга чувствовала себя хозяевами, а мы зависящими от их расположения к нам.

Нам, молодежи, это нравилось, но отцы и матери чувствовали обиду, скрывая, впрочем, ее.

Переговоры с прислугой вели мы, молодежь.

– Три дня назначено жидов бить, а потом и кой-каких других.

Пожилая кухарка страшно поводила в сторону глазами и поджимала губы.

Тем не менее, хотя и ждали, но, когда началось избиение, оно захватило врасплох всех.

– Жидов бьют!

Это было на второй день пасхи. Мы сидели в моей комнате и обсуждали какой-то мировой вопрос.

Нас всех было человек до десяти товарищей.

– Надо идти.

Мы надели шапки и отправились. Где-то высоко в воздухе стоял гул.

– Это туда, к Ришельевской, – сказал кто-то, и мы пошли, или, вернее, побежали, как бежали все кругом.

И все явственнее становился гул, теперь уже рев голосов: тысяч, десятков тысяч этих голосов.

Сердце сильно билось, и в голове только один напряженный вопрос: что-то там?

И вот перед нами прямая, через весь город, Ришельевская улица.

Мы у конца ее, который ближе к морю, а с другого конца громадная, в несколько кварталов толпа.

Так и встает в памяти эта улица, прекрасный весенний день, яркое солнце. И снег, белый снег, который ветер широкими волнами подхватывает, не допуская его падать на землю, и опять уносит его вверх, кружа над толпой. Потом уже поняли мы, что это летел пух от разорванных перин и подушек... А там дальше в этом веселом дне страшная толпа.

Точно полз какой-то отвратительный, тысячеголовый гад, скрывая там где-то сзади свое туловище. И так противно всему естеству было это чудовище, так нагло было оно с налитыми глазами, открытой пастью, из которой несли вой, страшный вой апокрифического зверя, порвавшего свою цепь и почуявшего уже кровь.

А с многоэтажных домов с обеих сторон улицы летели вниз стекла, посуда, вещи, мебель, рояли... Они падали, и последний дикий аккорд издавали разом лопавшиеся струны.

Быстро сменяются впечатления.

Мы уже в этой толпе, общая картина исчезает, и в каждом новом мгновении это что-то уже совсем другое.

Старик больной еврей на кровати. Около него маленький гимназистик с револьвером.

– Я буду стрелять, если тронут дедушку! – кричит исступленно мальчик.

Человек с черными налившимися глазами бросается па гимназистика, выхватывает у него револьвер, дает ему затрещину, и гимназистик летит на пол. Но все этим я кончается, и, ничего не тронув, толпа вываливается опять